Митрополит Иларион: Русская поэзия XX века сохранила в себе мощное религиозное и христианское начало

23 мая 2015 года гостем передачи «Церковь и мир», которую на телеканале «Россия-24» ведет митрополит Волоколамский Иларион, стал доцент филологического факультета Московского государственного университета Павел Спиваковский.

Митрополит Иларион: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы смотрите передачу «Церковь и мир». 2015 год объявлен годом литературы. Сегодня мы поговорим о русской литературе XX века, в частности, о русской поэзии и о религиозном начале русской поэзии XX века. У меня в гостях – доцент филологического факультета Московского государственного университета Павел Евсеевич Спиваковский. Здравствуйте, Павел Евсеевич!

П. Спиваковский: Здравствуйте, владыка!

Митрополит Иларион: Не так давно в «Независимой газете» мне попалась статья Владимира Бондаренко о религиозности Бродского. В ней автор доказывал, что Бродский был крещеным и верующим. Приводились цитаты из его стихов, некоторые довольно пронзительные. В частности, автор говорил о том, что Бродский почти на каждое Рождество писал стихи, посвященные этому празднику.

У Бродского есть стихотворения, посвященные и другим церковным праздникам, например, «Сретение», которое, на мой взгляд, можно назвать «иконой в звуке», потому что поэт сознательно использует символический, как бы иконописный язык и представляет очень яркие образы.

П. Спиваковский: Действительно, сходство с иконой очень важно. «Светильник светил, и тропа расширялась» – это обратная перспектива, бесспорно. Но насчет религиозности Бродского, мне кажется, Владимир Бондаренко сильно преувеличивает. Бродский был агностиком и, скорее, веры он не имел. Например, в статье о «Новогоднем» Марины Цветаевой он говорит о лингвистической реальности того света, то есть тот свет в его представлении – реальность сугубо языковая, воображаемая, художественная. Или в беседе с Соломоном Волковым о своем раннем стихотворении «Закричат, захлопочут петухи» он говорил, что начало стихотворения довольно слабое, слишком много ненужного экспрессионизма, а конец хороший, более или менее подлинная метафизика.

Метафизика для Бродского оказывается критерием художественного качества. Буквальной веры у него нет. Он – агностик, тяготеющий к позитивистской картине мира. Это сугубо материальный мир, где ничего мистическое как реальное не предполагается. Смерть, по Бродскому – это абсолютное уничтожение, безысходный ужас. Такому представлению можно сопоставить 14 симфонию Шостаковича: гениальное выражение ужаса перед смертью и абсолютной безысходностью.

Митрополит Иларион: Мне очень близко это сопоставление, потому что я по первой своей профессии музыкант, и в свое время, в юности, когда мне было 17 лет, 14 симфония Шостаковича оказала на меня очень сильное воздействие.

На мой взгляд, понятие религиозности применительно к поэтам, композиторам все-таки должно трактоваться особым образом, то есть, если, например, оценивать таких людей как Бродский или Шостакович с точки зрения ходили ли они в церковь, причащались и исповедовались, то, конечно, в таком понимании они не были религиозными людьми. Но ведь религиозное начало проявляется в человеке по-разному: прежде всего, как он реагирует на окружающий мир, на какие-то сигналы, которые ему посылает Бог. Я думаю, что у Шостаковича, даже если он не был, скажем, практикующим христианином, была очень чуткая в религиозном отношении душа.

Если говорить о наших поэтах XX века, таких как Пастернак, Ахматова, то Ахматова, конечно, была верующим, церковным человеком, а о Пастернаке этого сказать нельзя. О Бродском – тем более. Тем не менее, у Пастернака есть очень глубокие и пронзительные стихи, в которых идёт речь о Боге, об Иисусе Христе, Его деяниях, о временах и событиях, описанных в Библии. Они посвящены, в частности, Великой Пятнице, Великой Субботе, Страстям Христовым, Пасхе. Основная часть таких стихов содержится в романе Бориса Леонидовича «Доктор Живаго».

Думаю, что и в поэзии Бродского есть много глубоких религиозных прозрений. Не такая уж она безысходная, как Вы говорите.

П. Спиваковский: Я бы не поставил Бродского в один ряд с Пастернаком. Пастернак в моем понимании все-таки поэт верующий, а религиозность Бродского я бы сравнил с религиозностью Чехова, который писал, что на всякого интеллигентного верующего он поглядывает с изумлением. Чехов растерял свою детскую веру, но при этом он с удовольствием изображает верующих людей, например, в том же «Студенте», и как бы примеривает на себя, что было бы, имей он такую же веру. Аналогично я бы сказал и о Бродском: ему интересно представить то, что было бы, не будь он убежден в том, что ничего нет.

Митрополит Иларион: Не могу не отреагировать на сказанное Вами о Чехове, хотя мы говорим о русской поэзии XX века. Мне кажется, Чехов представляет собой очень интересный пример человека, в котором, при отсутствии формальной, внешней религиозности, до конца дней остается религиозность внутренняя.

Хотел бы обратить внимание на повесть «Степь», где удивительным языком в трогательных образах изображена русская действительность, жизнь маленького мальчика, которого отправляют в школу. Там прекрасно выведен образ священника. Но и, конечно, рассказ «Архиерей», написанный автором где-то за полтора года до смерти, когда Чехов уже тяжело болел и предчувствовал свою кончину. Он удивительно глубоко сумел проникнуть в этот внутренний мир русского архиерея, показать Церковь изнутри, донести ее атмосферу. Я думаю, что это редко кому удавалось.

Подобное мы можем сказать и о многих наших поэтах, которые если и не были религиозными в формальном смысле, то в своей поэзии ощущали те отзвуки Неба, которые поэзию, собственно, и делают поэзией.

В свое время мне было очень интересно познакомиться с одним из ранних стихотворений Бродского «Большая элегия Джону Донну». У нас, наверное, мало кто знает этого английского поэта XVII века, который был еще и священником, и проповедником. Известна одна из его проповедей, содержащая такие слова: «Нет человека, который был бы как Остров, сам по себе. Каждый человек – часть Материка, часть Суши <...> Смерть каждого Человека умаляет и меня, ибо я един со всем Человечеством, а потому...» – а дальше те слова, которые знает весь мир, благодаря Хемингуэю – «не спрашивай, по ком звонит колокол: он звонит по Тебе». Эти слова стали эпиграфом к роману Хемингуэя. Джон Донн, как мне кажется, оказал влияние на поэзию Бродского, ибо "Большая элегия" создает очень глубокий, интересный и, я бы сказал, интимный образ верующего человека и окружающей его обстановки.

П. Спиваковский: Действительно, стихотворение «Большая элегия» – удивительное. В нем вера Джона Донна воссоздана с большой силой и одновременно там тоска, идущая от автора, что он сам не имеет такой веры. Он, может быть, и хотел бы такого, но его представления о реальности совсем другие. И реальность в представлении Бродского очень страшная. У него много стихотворений о смерти как абсолютном уничтожении и абсолютной безысходности. Например, достаточно вспомнить балладу «Холмы». Из более позднего «Только пепел знает, что значит сгореть дотла». От человека на телесном уровне остается только то, что Бродский называет «свобода от целого: апофеоз частиц»; но в духовном плане остается и нечто другое – душа, духовное начало. Бродский с удовольствием готов об этом писать, но для него это, все же, условность, к которой он очень привязан.

Я хотел бы прочитать одно стихотворение Бродского, чрезвычайно показательное в том плане, как ему хотелось бы верить. Оно называется «Колыбельная», это позднее стихотворение, 1992 года.

Родила тебя в пустыне

я не зря.

Потому что нет в помине

в ней царя

В ней искать тебя напрасно.

В ней зимой

стужи больше, чем пространства

в ней самой.

У одних – игрушки, мячик,

дом высок.

У тебя для игр ребячьих

– весь песок.

Привыкай, сынок, к пустыне

как к судьбе.

Где б ты ни был, жить отныне

в ней тебе.

Я тебя кормила грудью.

А она

приучила взгляд к безлюдью,

им полна.

Той звезде – на расстояньи

страшном – в ней

твоего чела сиянье,

знать, видней.

Привыкай, сынок, к пустыне,

под ногой,

окромя нее, твердыни

нет другой.

В ней судьба открыта взору.

За версту

в ней легко признаешь гору

по кресту.

Не людские, знать, в ней тропы!

Велика

и безлюдна она, чтобы

шли века.

Привыкай, сынок, к пустыне,

как щепоть

к ветру, чувствуя, что ты не

только плоть.

Привыкай жить с этой тайной:

чувства те

пригодятся, знать, в бескрайней

пустоте...

Удивительное стихотворение. И сразу бросаются в глаза немалые странности: расстояния

измеряются верстами. Далее смотрим – «окромя», «щепоть», «не хужей» – простонародные выражения; «стужи» больше, чем «пространства». Я говорил с одним иконописцем, который долго жил на Святой Земле. Он рассказывал, что в тех краях минимальная температура зимой плюс десять. Трудно назвать стужей, согласитесь.

Напрашивается представление, что перед нами некий образ русской Богородицы. Поэтому расстояние измеряют верстами – это как бы такая Святая Земля сквозь сугубо российскую оптику, Новозаветная история глазами россиянина. Отсюда и другая психология.

Во-вторых, у читателя создается ощущение чрезвычайной значительности происходящего и одновременно холода, оцепенения. Почему? Потому что Христос здесь трактуется как существо, иноприродное людям. Он в пустыне должен быть всегда: где б Ты ни был, все равно в пустыне. Евангельский Христос, конечно, не такой: Он идет к людям и Он отнюдь не отделен от них. Фактически здесь у Бродского актуализируется монофизитская ересь – представление о том, что природа Христа целиком и полностью Божественная, а не так, как принято считать в христианском мире, что в единой Божественной личности Иисуса Христа соединены две природы: Божественная и человеческая. В стихотворении «Колыбельная» природа Христа принципиально иноприродна по отношению к людям. И это создает типичную для Бродского ситуацию экзистенциального одиночества, то есть, здесь он пишет об экзистенциальном одиночестве Бога.

Митрополит Иларион: Мне кажется, что к поэзии, все же, нельзя подходить с такими строгими мерками ортодоксии и ереси, и пытаться, например, вписать то или иное стихотворение Бродского в рамки той или иной древней ереси. К поэзии, в частности к той, что Вы сейчас процитировали, скорее, нужно относиться как к музыке. Ведь иногда, слушая музыкальное произведение, нам бывает трудно выразить словесно о чем оно. Мы слушаем симфонию, которая длится 40 минут, а о чем эта музыка - не знаем. Точнее, не находим слов, чтобы объяснить свое ощущение, ибо музыку мы слушаем сердцем, на нее откликаются сердца людей, каждое по-своему. Как на тот колокол, который звонит, и каждый может услышать в нем звон по самому себе.

Поэзию XX века, в том числе стихотворения людей, которые внешне были совершенно далеки от Церкви, пронизывает глубокая религиозная интуиция. Это те отсветы христианства, которыми она озарена.

Если вспомнить, ведь Сам Иисус Христос был поэтом. Он говорил не определениями или афоризмами, а по преимуществу притчами, которые далеко не всегда были понятны Его ученикам или просто окружающим людям. Но, тем не менее, вот уже две тысячи лет люди читают эти притчи, и каждый в них находит что-то для себя.

В поэзии есть что-то общее и с притчевым жанром, и с музыкой. При оценке поэтических творений нужно учитывать, что поэзия – это музыка, и она не обязательно должна нести какой-то конкретный словесный смысл. Поэзия может передавать те ощущения, которые мы зачастую переживаем в сокровенных глубинах своего естества, и которые невозможно передать на языке прозы.

Я думаю, что сила русской поэзии, в том числе поэзии XX века – сложнейшей, самой трагической нашей эпохи, когда была возведена стена между религией и искусством, – в том, что она сохранила в себе мощное религиозное и христианское начало.

Служба коммуникации ОВЦС

Источник: https://mospat.ru/ru/news/50388/